

НОМСОМОЛЕЦ

г. Ереван

Е 6 ФЕВ 1988

Звезды мировой эстрады

ГОЛОС, ОБРАЩЕННЫЙ
К СЕРДЦУ

Среди песен Азнавура была одна, которая приковывала мое внимание не только своей щемящестью и пронзительностью, но и тем, что мне стал известен ее перевод — незатейливый смысл, обыденная фабула, где, словно скупые слезы зрелости, падали слова о любви немолодого к юной. Песня передавала все ощущение трагизма этой ситуации:

Потому что тебе
нет еще двадцати
и вгрызаешься в жизнь,
словно в яблоко, ты.
Потому что тебе
нету слова «нельзя».
Потому что тебя
я люблю чересчур,
но причин моих слез
ты не можешь понять.
Потому...
Потому...

Надо отдать должное переводу — он был мастерский, какого редко удаются переводы текстов песен. И это только усиливало впечатление от иноязычной песни.

Шло время. Шарль Азнавур все больше входил в нашу жизнь. Он звучал в Ереване повсюду — не было окна, из которого не неслась бы его мелодия, которую старательно накручивал магнитофон: все записывали Шарля, все упивались его исполнением. Под эту музыку можно было плакать, можно было погрузиться в себя, в ту глубину, где воспоминания. А это великий знак. Это знак того, что перед нами настоящее искусство.

Мелодии были певучи, протяжны, прекрасны. Русло мелодии шло ровно, но вдруг в глубину забывтья врывался высокий пронзительный мазок скрипки. Именно врывался, но не для того, чтобы нас пробудить, а чтобы напомнить о каких-то других мирах красоты неопишущей. Как райская птица, пронесется и исчезнет вдали. И станет еще грустнее.

К его голосу с хрипотцой, лишенному традиционных красок, Франция привыкала долго. Но, привыкнув, вдруг как-то особенно ясно осознала, что это исполнение не простое, а авторское, иначе говоря, штучное. И что лучше все услышать из уст самого автора, чем передоверить интерпретацию любому искусному профессионалу.

Долго привыкала Франция и к внешности Шарля на эстраде. Внешности ничем не примечательной, ничем не привлекательной, к малому росту певца. А, привыкнув, уже не представляла себе ничего другого. Ибо она уже не глядела — она слушала. Франция и весь мир слушали певучую душу Шарля, талант которого все разгорался. А ведь когда-то на сцене парижского «Альгамбра-Синема», он, никому не известный, осмелился петь любовные песенки и был ошвистан. Но упорство его было таково, что через шесть лет на этой же сцене он завоевал сердца парижан. Талант, зревший в нем, внушал ему уверенность в своих силах. Вот что писала Наталья Кончаловская: «Его не-

громкий, чуть хриловатый голос не столь уж обаятелен. Но есть в этом голосе, во всем облике певца нечто, заставляющее слушать его с неослабевающим вниманием. Боишься пропустить каждую интонацию, каждый нюанс, которыми так богато его исполнение. Мастерство его блестяще. Чисто французское изящество сочетается в искусстве Азнавура с южным темпераментом его предков — армян. Он один из талантливых и верных учеников прославленной Эдит Пиаф, для которой песня была единственным смыслом и счастьем жизни».

На все эстрады мира он выходит в неизменном синем костюме. Кто знает, почему полюбил он «костюм цвета ночной синевы», как выразился один французский журналист, хорошо и примечательно написавший о Шарле: «Он принимал восторженные «браво» с неподвижным открытым лицом, как клоун пощечины. Но мы видели, как дрожало его маленькое тело, казавшееся еще более хрупким из-за костюма цвета ночной синевы...»

Маленький, он поразительно напоминал и в кино, в частности в фильме «Дьявол и десять заповедей» рядом с незабвенным Лино Вентурой, актером, выросшим в конце жизни в величину, равную Жану Габену. Это лишний раз говорит о том, что разгорание истинного таланта не остановилось. На неизбежное разгорание таланта был «обречен» и Шарль Азнавур, певший о неразделенной любви, об одиночестве человека в огромном мире и огромном городе, отчуждающем людей, о призрачном счастье, об участии и человечном в человеке. Его песни грешат всем тем, чем грешит обыкновенная жизнь, — простотой, бескусностью и грустью. Тоска и одиночество в его песнях смягчены тем особым строем души, той особой чуткостью, которая сама по себе уже определяет высокий уровень искусства. Конечно, на его концертах не повеселишься, как, скажем, на концертах Жильбера Беко. Что ж, каждому своя сторона жизни. Но никогда до Шарля Азнавура не задумывалась я о том, что у печали может быть столько оттенков и такие необъятные возможности воздействия, что радость входит в состав постоянной, разлитой печали и что подобное состояние сердца может служить неиссякаемым источником благожелательности и человеколюбия. Этот человек хорошо знает, что такое катарсис, хотя, вполне возможно, он и не ведал о том добре, которое творит, и оно заложено в нем изначально.

Крохотная фигурка Шарля печально и даже как-то зябко стоит на эстраде в круглом желтке прожектора. И в этом бледном, призрачном свете Азнавур поет о ранах, которые наносит человек человеку. В его мелодиях много осени, особенно поздней, много дождя и открытой беды. Небольшой оркестр, обступающий певца, блистательно и рельефно про-

пагандирует его большой и разносторонний талант. При этом, как я уже говорила, скрипка или рояль почти всегда «живут» самостоятельно.

Феномен Азнавура интересует меня еще и потому, что я не могу не осознавать, сколь многим обязаны ему люди моего поколения и как повезло всем нам в том смысле, что мы только-только вступили в сознательную жизнь и сразу же услышали песни такого ранга, как песни Азнавура и Булата Окуджавы. Что, конечно, помогало шлифовать вкус и приучало к высочайшей отметке в искусстве.

Совсем недавно в Музее литературы и искусства Армении я прочитала слова о том, что отец Шарля великолепно пел и особенно любил песни Саят-Новы и что у самого Шарля есть даже яхта, носящая имя «Саят-Нова». И мне все стало ясно. Вот он, исток его пронзительной певучести и его вкуса: еще бы, слышать с детства песни Саят-Новы. У отца тоже был отменный вкус.

Помимо высочайшего вкуса надо бы отметить и свойственную ему, как мало кому другому, драматичную насыщенность его музыки. Это особенно заметно, когда он поет песни не на собственную мелодию. Его песни гораздо пронзительнее. Но и в чужие мелодии он вносит свойственный его душе драматизм. Его индивидуальной душе? Или это проступает в нем армянское начало? Скорее всего — и то, и другое. Но это отдельная тема. Коснемся ее.

Поэт, композитор, певец, и во всех трех амплуа — гордость Франции. Но только ли Франции? В каждой его песне и в каждой грусти незримо присутствует очень давняя и очень знакомая каждому армянину тоска — тоска блуждающих странников и согнанного с земли народа. Крестница этой общей боли живет с тех пор в каждом из сыновей. Ибо чужбина, даже если это прекрасная Франция, все равно остается чужбиной. Будь Азнавур французом, осени в его песнях было бы не так подавляюще много. Очень скромная по размерам печальная библейская страна никогда не уходит из сердца. И тут уже ничего не поделаешь. Армянин — куда бы его ни забросила судьба — дышит, поет, пишет и улыбается печально, ибо он — дитя Востока и главное, дитя истерзанной и незащищенной страны, всегда лежавшей по ту сторону благополучия. А что в этом мире обходится без последствий? И плывет над Европой голос. Дивная музыкальность азиатского сына слышна в нем. И сколько армянской тоски и пандухтской печали в этих широко расходящихся, а потом устремляющихся все выше и выше ладах песни о французской богеме. Какие в этой песне дали! Так можно было бы петь не только об ушедшей молодости и беззаботной богеме, но об Атлантиде, потерянной человечеством. Что постоянно теряли сыны

того народа, который породил Азнавура? Родину, землю отцов. И могла ли такая память не всплыть столь щемяще! Истинно, истинно — не могла. Если бы могла — не всплыла бы. Всплывает лишь то, что не может не всплыть.

«Богема». Парижские бульвары. Но куда рвется эта печальная и возвышенная душа, этот трагический задыхающийся голос? Какие пространства манят его? Почему тесно ему даже в огромном Париже?

Так поют только о земле исхода. Ибо земля обитания — это еще не обетованная земля. Обетованность и обитание — это как бытие и существование. Это не, просто разные лексические, словесные штили. Нет, это сама протяженность и сжатие времени, само историческое бытие и исход. Встреча вечности с горьчайшей безысходностью.

Так поют все древние народы с тревожным тысячелетним бытием. Такое пение раздвигает границы простого и одномерного вокала. Вот почему в данном случае безразличен сам голос певца. Потому что это не вокал с сопровождением, а фиксация памяти с помощью музыки. «Так прощается с жизнью птица под угрозой смертельного жала...» (Гарсия Лорка в конгениальном переводе Марины Цветаевой). Так душа рвется в огнятые навек дали, и голос бесплотной волной бьется у несуществующего уже порога... Так во сне мы возвращаемся в детство. Так народ, превозмогая бесчисленные страдания, рождает сына с памятью, аккумулирующей все миги исхода. Хранилище души народа. Сокровищница тайн. Родник, принесший весть о неисчерпаемом подземном водоносном пласте. И пока жив народ... Пока жива его душа... А миграция — вещь не вековая. Нельзя воспеть то, что произошло только вчера. Даже если это вчера было век назад.

Пример Шарля Азнавура еще раз напоминает нам об устойчивой вековой истине: вы можете помянуть места обитания, но не свою природу. Вслушайтесь в его знаменитую песню «Мама». Местами в ней прямо-таки явственно слышится армянская мелодия. Так и представляешь себе ее переложение для дудука, например. И жаль, что такое переложение еще не сделано. Это только обогатило бы национальную музыкальную культуру.

И вот он снова выходит на подмостки — этот человек в «костюме цвета ночной синевы». И в который раз поет о больших печалях. Его рука удорожно сжимает микрофон, а лишенный традиционных красок голос обращается прямо к сердцу. И сердца откликаются. По крайней мере, до сих пор так было на всех континентах.

Н. СААКЯН.